

Всё как оно было, или Лёня Спас



рассказ

Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ

г. Железнодорожный

Московской области

Теперь его зовут Лёня Спас. А раньше, сколько себя помню, звали Лёня Немой. Каждый раз, когда Лёня Немой стремительно выходил с вёдрами из калитки, выкрашенной той же голубой краской, что и наличники, дверца с хлопком откидывалась назад. И тогда мы, отрываясь от игры или разговоров, поворачивали в его сторону головы. Тонкая, стройная, словно у юноши, фигура; белесая застиранная гимнастёрка без ремня сидела свободно, ладно; солдатские брюки внизу закатаны; длинные ступни босы.

Ступал он легко, чуть подпрыгивая. Но лицо — худое до впалости — было искажено, сдвинуто на сторону. Нос искривлен и словно придавлен. Левая ноздря была широкой. Толстый грубый шов, напоминавший сварочный, проходил сбоку. А другой ноздри не было вовсе. Светлые глаза выглядывали из узких глубоких пещерок, над которыми нависали выгоревшие, словно подпалённые, брови. Казалось, он не видел ни нас, ни всего, что его окружало.

Невозможно было привыкнуть к этому странному лицу. Всякий раз при виде Лёни брезгливый страх охватывал нас. Низкий лоб, пепельные, похожие на хлопья сожжённой бумаги, волосы клочками укрывали его немного сплюснутую голову. На ней не видно было седины, как на лице — складок, морщин или каких-то других признаков возраста. Быть может, от того, что он не жил взрослой жизнью, её заботами и удовольствиями, старость не интересовалась им.

Набирая из колонки воду, Лёня вытягивал шею вперёд, часто шлёпал влажными оттопыренными губами. Мы знали, что он умеет ясно произнести лишь один-два слога, и то если к нему подходила, например, тётя Алёна Адышева, живущая улицей ниже, — маленькая черноглазая женщина с бледным болезненным лицом. Она обязательно здоровалась с Лёней, спрашивала, как здоровье, как матушка и дома ли его сестра Тася. Тогда Лёня Немой стара-

тельно мычал, гундосил, шлёпал дрожащими влажными губами, пускал слюни. Тётя Алёна повторяла за ним его ответы, понимая каждое слово. Но в остальное время Лёня был нем.

В шестидесятые годы двадцатого века река, поившая нашу деревню — людей, скотину, огороды, — стала сохнуть, мелеть. Вода сделалась буро-коричневой, как бочажная. «Это оттого, что целину распахали, — считали деревенские старики. — Дичи на займищах не стало, а сколько её было!.. Ребята по полсотни яиц гусиных да утиных по весне собирали, рыбу в старицах руками брали. Куда всё подевалось?»

И тогда нам поставили водяные колонки. Они напоминали мне торчавшие из земли железные пупы. Одну из колонок установили на Чалдоне, старом околотке на выезде из села, другую — на Новинках, третью — у нас, на прибрежье. Она сразу же стала местом встречи нашей компании. Колонка казалась нам идеальным гидросооружением. Нажал рычаг — и вот она: услужливая и нескончаемая струя свежей воды! Наша колонка располагалась на углу между двух улочек. Проулок выходил на безлюдную дорогу, справа от неё длинной полосой шёл низенький лесок.

Широкий выход из проулка вместе с дорогой образовывал обширную площадку. На ней мы резвились, боролись, играли в лапту, мяч, носились до изнеможения, а потом шли к колонке. Это же блаженство: нажать на рычаг, склониться над трубой и ловить ртом ледяную вкусную струю. Ближе всех к нашей колонке жили я и мой одноклассник Володя Кох. Фамилия ему досталась от отца, переселённого в Сибирь во время войны из республики немцев Поволжья. Мы звали его Вован Наган: никто не умел лучше него отливать из свинца пистолеты. А недавно он отлил себе кастет — не обычную свинчатку, а настоящий, с четырьмя отверстиями для пальцев.

Другой наш одноклассник — Гена Кино — жил на горушке у лесхоза, в минутах десяти ходьбы от нас. Все мы обожали смотреть в деревенском клубе фильмы, но Гена... он продал бы за кино свою мамашу! Правда, продать её было не так-то просто. Она ещё в три года бросила его и уехала в город. Генка продал бы за кино и отца, но у него его никогда не было. А вот ба-

бушку... Нет, бабушку Гена продавать бы не стал. Ведь она одна не бросила его и вон уже до какого верзилы доросла.

Фильм, который мы вечером приходили смотреть, шёл с перерывами — изношенная плёнка рвалась. И пока кино налаживали, мы свистели, дурачились, толкались и сбрасывали друг друга с лавок на деревянные некрашенные половицы, пахнущие шелухой жареных семечек, которыми они были густо усеяны. А Гена сидел в неподвижном ожидании. И, как только гас свет, впивался в экран, вдыхал, проглатывал, вбирал фильм глазами и душой, помнил его весь — от первого до последнего кадра. Ещё он умел шевелить ушами, выкатывать глаза так, что видны были лишь белки, и ловко жонглировал мячиками, которые он сам катал из бычьей шерсти.

Толя Ячмень жил на соседней от нас с Вованом улице, в самом хвосте её. Улица была длинной и упиралась в просёлочную дорогу за селом. Беспечальный двоечник Ячмень мечтал скорее окончить восьмой класс и пойти работать трактористом, как его отец.

Везде и всюду за нами таскался Павлуша, хиляк и тихоня, — младший брат Ячменя. И прибилась к нам одна девчонка, Галя Краснова. Мы звали её Галочкой. Не из нежности, конечно, — всякую нежность парни презирали — а так, в насмешку. Галя сильно тяготела к Вовану. Где бы он ни находился, Галочка легко, как тень, передвигалась в его направлении, пока не оказывалась рядом как бы совершенно случайно.

Мы собирались у колонки каждый день, и почти не было случая, чтобы хоть раз не пришёл в это время на колонку Лёня Немой. Бывало, он носил воду долго — это когда у Ильиных затевалась стирка или топилась баня. Дом Ильиных находился на углу, прямо напротив колонки. Лёня Немой жил с матерью и сестрой-вековушей. Маленьким я думал, что это такое имя — Вековуша — как Луша или Маша, но потом обнаружил, что её зовут Тася. А вековуша или вековуха — это женщина, которая не вышла замуж и проживает свой век одна. В другой раз я услышал, как моя бабушка говорила, что мать немого Лёни несёт крест, а сестра загубила свою жизнь ради инвалида. И опять я не

понимал, чего это бабушка придумывает. Ни когда я не видел в руках тёти Антонины, матери немого Лёни, креста, ничего она не носила, кроме тяпки, когда шла на свой дальний огород. Да и Тася — красивая, стройная с волнистыми волосами, собранными в пышный переливчатый пучок, — каждый день жива-здоровая шла мимо нашего дома на работу в медпункт.

В первый день летних каникул, десятого июня, наша компания собралась к двенадцати часам у колонки. Становилось жарко. Мы перекочевали к новому забору у палисадника Черновых. Их дом стоял на другом углу, напротив Ильиных. Под забором ещё оставался узенький островок тени. Мурава на нём казалась тёмной, а на ощупь — мы все, кроме Галочки и Кино, были босиком — прохладной.

Только Гена Кино остался на середине площадки под палящим солнцем. Широко расставив ноги в новых чёрных кедах, которые ему прислала из города мать, задрал голову, осиянную ёршиком рыжих волос, он жонглировал мячиками. Молниеносно выпускал их вверх и затем неуловимым движением собирал в руку. Мы неотрывно смотрели на него. Лишь Галочка, вначале стоявшая около Павлика, озабоченно вертела туда-сюда головой, приплясывала, перебирала ногами, передвигалась до тех пор, пока не оказалась рядом с Вованом. Вдруг Гена резко выхватил из воздуха один из летящих мячей (остальные разлетелись в стороны), подкинул и со всей дури хлопыстнул по нему ногой. Жонглёрский мячик словно мечтал о таком ударе. Он пролетел улицу, перемахнул через забор Ильиных немного правее калитки и стукнулся в окно. Мы услышали удар в стекло, похожий на удар кулака. Потом мячик отпрянул от стекла и скатился вниз.

— Эх, пропал мячик! — сказал Ячмень.

Но тут мы увидели, как мяч мягко и легко перелетел обратно через забор Ильиных и упал точно к ногам Кино. Гена живо поднял его и спрятал в карман штанов.

— Хорошо, что ты, Кино, окно не разбил. А то бы прощай заветный уголок, — сказал я. — Пошли отсюда.

— Это не его колонка, Сыч, — с непонятной злобой отвечал Кино. — Пусть сам уходит, урод!

— Мы думали: какая муха тебя укусила, Кино,

а тут не мухой — коброй ядовитой попахивает, — заметил Вован.

— Точно, — тревожно подтвердил Ячмень.

— Надоел этот страшила! Чё он тут ходит, слюни пускает?

Кино зашлёпал губами и брызнул слюной, точь-в-точь как Лёня. Он хотел ещё что-то добавить, судя по лицу такого же кобристого, ядовитого, но тут из калитки стремительно вышел Лёня с ведрами в руке. Немой и далёкий, он, словно не видел нас, прошёл к колонке, поставил одно ведро наземь, а другое навесил на крюк колонки. Мимо как раз опять проходила тётя Алена, и она, конечно, подошла, чтобы спросить, как здоровье Лени и кто у Ильиных дома. Мы всей подзаборной шеренгой стояли и молча смотрели на них. Лёня восторженно отвечал тете Алёне мычанием, заиканием, хаотичными жестами. На вопрос, дома ли Тася и что делает, он сильно потёр ладони друг о друга, изображая стирку. Она ласково улыбнулась, пожала своей маленькой ладонью его руку и пошла дальше, болезненно поджимая плечи. Тётя Алёна ушла, а Лёня стоял, сам себе губошлёписто, счастливо улыбаясь.

Тут Галочка, встав перед нами на цыпочки и вытянув шею, сказала тихо, почти шёпотом:

— А тётя Алена до войны была невестой Лёни. Тогда он ещё не был немым. Она вышла замуж за другого после того, как стало ясно, что Лёня совсем ни на что не годный. Правда, правда! Мне мамка сказала.

— Лёня — жених! — захохотал Кино. — Представляю!

Он стал изображать Лёню-жениха. Обнял меня, словно я его невеста, — наверное, потому, что у меня были длинные, давно не стриженные волнистые волосы и ненавистная цветастая рубашка, которую мать сшила мне на лето. Другого материала у неё не нашлось, а из старых летних рубах я вырос. Гена прищурился, прижал пятернёй нос и радостно загундосил, замычал, по-идиотски оттопырив губы, делаясь похожим на Лёню Немого. А потом ещё склонил ко мне голову на плечо и шевельнул ушами, словно прислушиваясь к голосу невесты. И мы все захохотали, потому что невозможно было удержаться, уж такой Кино был комик.

Я нечаянно глянул на Лёню. Он набирал

второе ведро, неотрывно глядя на струю. Воды набралось поверх краёв, и, когда Лёня Немой понёс вёдра, она расплескивалась, лилась по бокам вёдер, капала ему на штаны и на голые щиколотки.

Кино свистнул ему вслед и прошипел:

— Даже не оглядывается! Мычало!

— Дурак, он же глухой! — заступился за Лёню Павлуша.

— А как же он тогда Алёну слышит? — и Кино, придуриваясь, быстро шевельнул ушами.

— Он её по губам понимает, — сказал Вован.

— Я в одной книжке читал. Там глухонемой понимал слова по губам.

— Жалко его, — сказал Павлуша.

— Жалко... — тоненьким голоском передразнил его Кино. — Чего тебе жалко? Он вон идёт: улыбка до ушей, хоть завязочки пришей.

Мы все засмеялись, и Павлик тоже.

— Нет, не слышит Лёня, — убеждённо сказала Галочка. — Он, когда рычаг открывает у колонки, не слышит, как струя фырчит. Вокруг него одна немота. Это как когда нырнёшь глабоко под воду.

— Точняк, — кивнул Вован.

— Я знал, Вован, что ты так скажешь. — Гена ехидно улыбнулся. — Как Галочка, так и ты.

— Почему это?

— Потому что ты так же за ней бегаешь, как она за тобой!

Вован взглянул на Гену Кино исподлобья своими красивыми, смелыми, гордыми глазами, сводившими с ума Галочку, и шагнул вперёд. Кино стоял, всей фигурой выражая бесстрашие и даже радость по поводу надвигающейся драки. Он ехидно улыбнулся и подмигнул:

— Небось, уже щупал её, а, Вован Наган?

— Заткнись!

Вован выхватил из кармана штанов кастет и, зажав его пальцами, пошёл на Гену Кино. Галочка подбежала к нему, чёрные косички разлетелись в разные стороны, глаза под дрожащими веками почти плачут, и вдруг повисла на его локте, повторяя одно и то же:

— Отдай мне кастет, Вовочка! Отдай мне кастет.

— Отцепись! — сказал Вован, пытаясь стряхнуть её, но она повисла намертво.

— Убери кастет, тогда отцеплюсь!

— Ну что вы все друг к другу чеплетесь, а? — с досадой спросил Толян. Ячменные глаза его в белесых ресницах огорчённо глядели на друзей. — Всё у вас какие-то дуэли!

Он подвинулся к Павлуше и заслонил его, будто это не Гене, а его братцу грозил удар кастетом. Я чувствовал себя виноватым. Не надо было ничего говорить. Стекло целое, а целый ли теперь будет Гена Кино — большой вопрос.

— Отвали от Вована! — крикнул Кино Галочке. — Плевал я сто куч на его кастет.

Галочка молча висела на руке Вована.

— Братцы! Дурная Роза идёт! — крикнул Павлик, он первым её увидел.

Я стоял спиной к дороге, оглянулся и тоже увидел, как из леска, раздвигая кусты желтой акации, выходила Дурная Роза — корова бабушки Ирины Арефьевой. Она была известна всем именно своей дурью. Роза бодалась и лягалась и даже кусалась, если её кто-то не устраивал. А как понять, устраиваешь ты Дурную Розу или нет? Эта корова не ладила со всем стадом и быка-производителя прошлым летом лишила всякой работоспособности, неудачно лягнув. Так она ответила на его добрые намерения по воспроизведению потомства. Пришлось нанимать для членского стада коров колхозного производителя, иначе бы все коровы остались нетельными. И бабушка Ирина, как только Дурная Роза огулялась, перестала гонять её в членское стадо и отправляла в наш лесок, в ту часть, где кустарник был редким и потому травы росло много. Бабушка Ирина привязывала корову за верёвку к большому, намертво вбитому в землю колу. Теперь Дурная Роза, слегка покачиваясь, как лодка в тихий день, плыла к нашему перекрёстку. Верёвка, свисавшая с шеи Розы, скользила по земле, иногда подпрыгивала и взлетала, попадая на осколок кирпича, палку или бугорок.

— Павлик, отходим!

Ячмень с братцем бесшумно ускользнули в соседний проулок, встали там у огороженного пряслами двора Шпаликовых, готовые, если что, мигом сигануть через них.

Вован выразительно взглянул на меня, рванул локоть, на котором висела Галочка, помогая себе левой рукой. Всё-таки оторвал её и опустил на песок. Я подхватил Галочку, лег-

кую, как мешок сухой травы, и потащил к забору. Но «мешок» вдруг проявил волю, стал упираться и дрыгаться.

– Перестань! Хочешь, чтобы тебе Роза бок проколола?! Будешь калекой кривобокой! – урезонил я её.

Галочка замерла и покорила. Для покорения Вована ей нужна была красота и здоровье.

– Сама пойду, отпусти!

Тогда я отпустил её. Скоро мы присоединились к Толику с Павлушей, стояли теперь у прясел все четверо. Лишь Вован с кастетом и Гена Кино остались на своих позициях. Дурная Роза ускорила шаг. Она быстро приближалась к ним. Её подпиленные, но всё равно страшные рога были желтыми, как бивни слона. А на морде отражался боевой азарт, какой бывает по весне у молодых бычков. В такт шагам, потерявшим свою плавность, колыхалось белое огромное вымя с растопыренными во все стороны сосками. Дурная Роза приостановилась, взглянула на неподвижные фигуры Вована и Гены, сделала полуоборот и встала. Теперь она находилась параллельно Вовану и Гене, их, так сказать, композиции. Роза тоже замерла – этакий монумент коровы. Однако неподвижной она оставалась недолго. Шевельнулась, расставила ноги, вслушиваясь сама в себя, медленно и даже торжественно подняла хвост... Шумная широкая струя полилась, разливаясь и образуя лужу, которая в почтении остановилась перед кедами Гены Кино. Он стоял так же величественно. А Вован в той же позе – руку с кастетом опустил, но не убрал. Все, кроме Галочки, захохотали.

– Нассала она на ваши дуэли! – крикнул Толя Ячмень.

Гена Кино бешено сплюнул на песок, уже почти вобравший в себя всю щедрую коровью влагу. Ни с кем не попрощался, повернулся и пошёл от перекрёстка вниз, чтобы свернуть потом на дорогу, ведущую к его дому.

– Я тогда тоже пошёл, – сообщил Вован. Наверное, это он сказал нам, но получилось, будто Дурной Розе. Он уходил не спеша, степенно, спиной выражая несокрушимое достоинство своей личности. Но Дурную Розу Вован не впечатлил. Ей по душе пришёлся Гена Кино, потому что, сделав скорый поворот направо, она

спешно двинулась в ту сторону, куда уходил Кино. Но Гена умел очень быстро ходить, а ещё быстрее – бегать. Так что был шанс, что Дурная Роза его не догонит.

– Кино, она за тобой бежит! – нервно крикнула Галочка.

– Толь, зайдём к Шпаликовым, – предложил брату Павлик. – Тётя Соня нам серки¹ даст!

Мы с Галочкой остались одни.

– Миха, он мне больно сделал, – сквозь слёзы сказала Галочка, не отрывая взгляда от удаляющейся магической фигуры Вована. – Он мне вообще не нужен!

– Дурная Роза тоже так решила, – ответил я. – Пока, Галочка.

Пару дней мы не встречались, сидели по своим углам. На третий день Гена Кино спустился со своей горки, позвал меня, Ячменя, Павлуша тут же прилип к нам, и мы пошли к Вовану.

– Вован Наган! – крикнул Толя, когда мы подошли, а Кино свистнул в два пальца. Вован, должно быть, перебирал запчасти старого мотоцикла на заднем дворе, выискивая аккумуляторы, из которых можно получить отличный свинец. Он подошёл к калитке, резко открыл её и вопросительно взглянул на нас. Руки у него были в мазуте.

– Здорово, Вован. Айда на колонку. В ножички поиграем, – улыбаясь, сказал Кино.

Вован кивнул, вытер руки о штаны, и мы вместе пошли к колонке. Вован шел один, впереди. У колонки никого не было. В леске из цветущей желтой акации, из серебристых ветвей лоха слышалось пение, чириканье, треньканье и крик птиц. Провода телеграфного столба подрагивали, когда какая-нибудь стайка, перелетая дорогу, садилась на них.

– Сыграем в «землицу»? – предложил Гена, вынув из бокового кармана брюк складной ножичек и подкинув его на ладони. Мы выбрали место, где земля была потвёрже, Гена Кино начертил круг.

– Сыч, ты играешь?

Я не любил игру в «землицу», и Гена знал это.

– Судьей буду, – ответил я.

¹ Серка – самодельная жвачка, которую варили на Алтае из березовой коры.

— Ладно. Павлик, а ты играешь?

— Ага, играю.

— Только нюни не распускай, если что. Просто учишься играть.

Кино поделил круг на четыре равных участка, проведя ножом границы каждого. Быстро кинули жребий. Вовану выпало начинать. Он нацелился на землю Гены. Придержал ножичек за лезвие и резко метнул его. Лезвие глубоко и крепко вошло в землю.

— Хорошо резанул! — одобрил я.

Вован вынул ножик, прочертил под моим присмотром линию новой границы, отняв у Кино больше половины участка, а прежнему стер.

— Ну ты тятнул, хапуга! — притворно вздохнул Кино и поставил ноги на оставшийся островок своего надела.

Вован снова метнул ножик.

— Зазор! — крикнул Павлуша. Он присел на корточки, поставил большой палец между краем рукоятки ножика и землей, измеряя расстояние. По правилам зазор не должен превышать толщину большого пальца.

— У тебя большой палец с мой мизинец, — сказал я. — Я сам измеряю.

Павлик отошёл.

— Полтора пальца, ребя! Бросок не считается! — измерив зазор, объявил я.

— Теперь моя очередь! — выдвинулся Гена Кино.

Он взял ножичек.

— Тебя буду резать, Вован.

Я подал ему ножичек. Он легко, словно и не целясь, выпустил лезвие, которое держал между пальцами. Нож перевернулся в воздухе, упал и, красиво вонзившись в землю, засыл в ожидании, словно сам знал, что всё сделал как надо.

— Здорово! — воскликнул Павлуша.

Кино ликовал. Напевая, он провёл новую границу между своим участком и участком Вована, картинно стирая линию, которую нарисовал Вован.

— Галочка идёт! — с досадой сообщил Толик со своего земляного удела. — Не идёт, а пишет, а другой зачёркивает!

Гена Кино, не отрывая хищного взгляда от земли Вована, метнул ножик. Перевернувшись в воздухе, нож повалился на землю и упал на бок.

— Всё из-за тебя, Толян. Говоришь под руку.

Галочка подлетела, как-то по-новому улыбаясь белым, густо напудренным лицом. На ней было новое летнее светлое платье, и она воображала. Одним глазом улыбалась Вовану, а другим — Гене. Мы с Ячменём остались неохваченными, но тут Галочка не виновата, ведь третьего и четвёртого глаза у неё не было.

— Играете! Хорошо вам, — кокетливо прощбетала она. — А на меня мамка всё хозяйство свалила. Сама целый день в пекарне хлеб печёт! Галюня, помой полы, Галюня, почисть у кроликов, Галюня, вынеси мусор! А говорила — для радости родила...

Галочка подошла к самой черте круга, за которой всё ещё находились Вован, Кино, Ячмень и Павлуша, разделённые на сектора. Игра остановилась.

— Я последние дни догуливаю, — сказал Ячмень, оставляя свой земельный надел. — В сенокос на граблях буду работать. Папка берёт нас с Пашей. А ты, Вован?

— С отцом на тракторе. И Миха с нами.

Мой отец умер, когда мне было десять лет, мы жили вдвоём с матерью. Хотя отец Вована был помоложе моего отца, но они дружили. Может, поэтому дядя Рудик почти всегда брал меня на трактор вместе с Вованом, обязательно отпрашивал меня у матери, «Кристины-собственницы», как он её называл.

Гена Кино промолчал. Но все и так знали, что он на месяц поедет к матери в Новосибирск. Городская, красивая, с химическими кудрями Генкина мама жила и работала на капроновом заводе. Присылала им с бабкой посылки, приезжала каждое лето на несколько дней в отпуск, а потом брала Гену в город.

— А что я узнала про него Лёню! — вдруг сказала Галочка, тайком сквозь сощуренные глаза, как в щёлочки забора, поглядывая на Вована. — Лёня был раненный и контуженный на войне. Тогда и глухонемым стал. Думали, что он мёртвый, повезли его вместе с другими убитыми, а он зашевелился. Его — в госпиталь. В общем, он пришёл в себя, но не помнил, кто и откуда, и при нём не было никаких документов. Так продолжалось полтора года. А потом он вспомнил и написал на листочке имя матери и название деревни. И тогда мать нашли,

сообщили, что он жив. А война уже год как кончилась. И она думала, что Лёня убит, как его отец. Они с Тасей заняли денег в колхозе и поехали в госпиталь... Забыла, в какой город, в Липовск, что ли?

— Может, в Липецк? — предположил Кино.

— Вот-вот. Кажется, так.

— Липецка не помнит... — ухмыльнулся Кино.

— Ты, что ли, тоже контуженая?

— Кино, отстань от неё! — сказал Толян. — Ребят, представляете, один из всего взвода жив остался!

— Ну нет... Уж лучше погибнуть, чем вот так мычать бесполезно...

Кино мрачно сплунул.

— Ты-то с пользой мычишь, — усмехнулась Галочка. — Даже «Жди меня» не смог выучить. Пыкал-мыкал полчаса и парашу получил!

Кино в сердцах вонзил ножик в землю, встал нарочито прямо, руки по швам, и начал:

*Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...*

Он прочел всё стихотворение, на нашу беду оно оказалось намного длиннее, чем мы учили в школе.

— Ну ты... ты даёшь, Кино! — ошеломлённо сказала Галочка. — А почему, когда тебя спрашивали, не рассказал?

— Потому что не хотел.

— Назло кондуктору пешком пойду. В этом ты весь, Кино, — она с восхищением посмотрела на него. — А как хорошо читаешь!

Гена даже не взглянул на Галочку, но лицо его заметно помягчело, просветлело, что ли, как в клубе, когда он смотрел фильм.

Вован цепким внимательным взглядом глядел на них.

— Давай на речку пойдём, а, Толик? — жалобно попросил Павлуша. — Жарко тут.

Ячмень вопросительно глянул на друзей.

— В лягушатник купаться не пойду, — отрезал Вован.

Он имел в виду обмелевший рукав речки сразу за приречной улицей.

— Пошли на Увал.

— На Увал так на Увал.

Кино вынул нож из земли, обтёр о штаны

лезвие и, сложив, спрятал его в глубокую нору кармана.

Все были согласны пойти на Увал.

Увал находился за деревней. Река, делая несколько медленных поворотов, текла павой и была здесь как раньше — голубой и глубокой. Высокий берег Увала представлял собой почти отвесную каменисто-глиняную стену. Это было единственное место, где глинистый берег таил в себе камень, поэтому его называли Каменной стеной. Верхнюю плоскую широкую площадку покрывали островки рано выгоревшей травы. На самом краю, у обрыва, сохла одичавшая кривая яблонька ранет. Говорили, что здесь ещё до революции стоял дом кожевника, с большим двором и садом. Мы пошли направо к спуску, отделявшему Увал от остального, не столь высокого, берега. Притормаживая изо всех сил на склоне, который прямо тащил нас вниз, обещая жахнуть об камни, спускались.

— Смотрите: Лёня Немой рыбу ловит! — сказал Павлик.

Действительно, внизу почти по колено в воде стоял Лёня в своих закрученных солдатских штанах и гимнастёрке с самодельной удочкой. Казалось, он просто держал в руках чуть гнутый коричневый прут, — лески и поплавок нам не было видно. Мы прошли мимо, направляясь налево, под Каменный берег. Его стена находилась от воды довольно далеко, метрах в двадцати-тридцати. Гена Кино вдруг сказал:

— Пойду посмотрю, что он наловил.

Мы остановились, а он пошёл к Лёне, что-то сказал и протянул ему руку. Лёня переложил удилище в левую, а правой пожал Генину ладонь, улыбаясь и длинно мыча. Нам было его слышно. Приподняв низкую широкую корзину, Лёня Немой снял густой слой травы, которой была укрыта рыба, и стал показывать улов, перебирая рукою щучек, ливней, карасей, ёршиков.

— Вот и пойми Генку, — проворчал Толик. — То орал, что видеть его не может, то руку пожимает, чуть не целуется с Лёней.

— Кино и есть Кино, — вздохнула Галя. — Стихи на три страницы выучил, а в школе кол за них получил.

А Гена посмотрел на улов, оттопырив большой палец, сказал: во! И пошёл к нам.

— Много Лёня поймал.
— Он всегда много ловит. Его рыба не боится,
— сказал Вован.

Мы расположились под берегом вокруг белого плоского валуна, который служил нам столиком. Галочка отошла чуть в сторону и расположилась на другом валуне, по форме похожем на креслице, сидела со всеми удобствами. Толик достал из нагрудного кармана рубахи карты и, перетасовав, стал раздавать.

— Ну вы чё? — вскрикнула вдруг Галочка. — Кто в меня сейчас камешком кинул? Ты, Ячмень?

— Очень надо. Видишь, я карты раздаю.

— Я играть с вами не буду, — надулась Галочка.

— Ага, продуть боишься? — сказал Толик, энергично раскидывая карты.

— Давайте сначала искупаемся, — заныл Павлуша. — Жарко... Купаться хочу.

Он, видать, перегрелся, пока шёл.

— В «дурака» хочу... — вялым капризным голосом прогундосил Кино, передразнивая Павлика.

— Павлик, ну давай сыграем кон! — попросил Ячмень.

Он любил играть в «дурака». Мы взяли карты в руки.

Вдруг ударил гром, далёкий, могучий. Дрогнуло эхо, ударило в берег и потом, рассыпавшись, наполнило воздух сухим неприятным треском. Быстрый, словно снявшаяся стая птиц, ветер прошелестел наверху и стих.

— Гроза, что ли?

— Гроза, только далеко где-то, — беспечно сказал Кино. — Нам-то что? Только прохладней.

И действительно, густой знойный воздух чуть разбавился прохладой. Где-то пошёл дождь. А раскатов грома больше не было.

Игра началась и шла быстро.

— Вы опять? — заорала Галочка. — Хватит кидаться! Больно же!

— Это Вован с тобой заигрывает, — не удержался, съехидничал Кино.

Вован встретился взглядом с Галочкой.

— Я не кидал.

— С ума вы посходили! — проворчала Галочка и, недовольно отодвинувшись, пересела к самой стене Каменного берега, лицом к реке. Опять загромыхал гром, чуть ближе, и новый порыв ветра прошумел наверху.

— Лёня Немой перешёл со своего места, — заметила Галя. — Видать, клевать перестало.

Все, кроме Ячменя, набравшего карты из колоды, повернули головы к реке. Странно, нелюдимый Лёня Немой расположился теперь у воды прямо напротив нас. Он устроился на ровном удобном камне, снизу подтопленном водой, стоял вполборота к реке, насаживал на крючок червяка.

— Перешёл и перешёл. Кому он мешает, — сказал я.

Мы вернулись к игре.

— Весь кон одни крести! Как мне играть? — возмутился Ячмень, тряхнув веером карт, но так и замер на месте. Мы все на мгновение замерли. Потом вскочили — свирепый рёв поднял нас на ноги. Но в этом длинном нечленораздельном рёве я и, как потом выяснилось, все мы расслышали дважды повторившиеся слова: «Назад! Назад! Приказываю!» Мы не поняли, откуда шёл этот крик и чей он. Никого, кроме немного Лёни, вокруг не было. В это время на наш карточный столик плюхнулся камень размером с большую картофелину, тонкая колода карт на кону подпрыгнула и разлетелась. Я взглянул вверх. В громадине Каменного берега что-то дрогнуло, шевельнулось. Каменная порода вперемешку с глиной и песком, вырвавшись из остова, летела вниз.

— Обвал! Бежим! — заорал я.

Мы сорвались с места и кинулись вниз. Впереди бежал Толик, крепко держа Павлика за руку, за ними мы с Кино, следом, должно быть, Галочка и Вован. Мы отбежали метров двадцать вправо, когда Павлик вдруг оглянулся и отпал от брата, словно прицеп от тягача, юзом проехав по гальке.

— Галочка! Галочки нет! — крикнул он.

Мы остановились. Вован, как он потом рассказывал, изумился этому крику, потому что всё время видел перед собой светлое платье Галочки.

— А-а-а! — заорал он так, будто его босые ноги попали в костёр или напоролись на все гвозди мира. Развернувшись, он кинулся назад, ища глазами Галю. Но в этот момент высокое облако пыли, смешанное с глиной, мутным занавесом укрыло пространство у Каменной стены. Мы видели лишь Лёню у кромки воды. Он

вытянулся, выставив вперёд длинные, торчащие наполовину из рукавов руки, и в каком-то немислимом скачке или полете устремился к Каменному берегу. Затем скрылся в облаке и тут же появился с Галочкой на руках, совершив такой же нереальный скачок-полет в обратную сторону. Прошли буквально секунды, а Лёня с Галочкой уже находились на безопасном расстоянии от обвала. Он пробежал с ней на руках ещё несколько метров вправо по берегу и остановился вблизи воды, опустил скукоженную фигурку Галочки на кромку, усеянную мелкой галькой. Вован оказался рядом почти сразу. Подбежали и мы. Гена с горящим гребнем рыжих волос, большими оттопыренными ушами, которые непроизвольно шевелились, Толя Ячмень, почему-то пригнувшийся и снова крепко держащий за руку брата.

— Галя! Галочка! — Вован, забыв о всяком стеснении, кинулся к ней. Он был даже не бледный, а глинисто-серый, как та земля, что могла засыпать Галочку.

— Да цела я, цела, — быстро ответила она, устремляясь к нему. — Я просто упала и чуть задержалась. Мне отдышаться надо.

Она заплакала, сделала пару шагов и опустилась на камень у воды. Из-под короткого рукава платья лилась по предплечью струя крови, стекала с локтя. Всё платье было в плотном слое пыли, глины, в налипших комках и комочках земли, будто её только что откопали из могилы. Впрочем, так оно и было. Лёня Немой её оттуда вытащил.

А обвал продолжался. Камни, пробивая песок и глину, вываливались из утробы Каменного берега, летели, переворачиваясь и набирая силу, катились вниз. Грохот и гул больше всего напоминали раскаты внезапного и ожесточенного боя из военных фильмов, которые мы так любили смотреть. Удар взрывной волны — и осколки камней, вырванных из недр стены, взмываются вверх, разлетаются и падают во все стороны. Глыбы с треском разбиваются, ударяясь внизу о валуны. И вдруг раскатистый, долгий треск, похожий на автоматную очередь, — это сыплются, бьются друг о друга камни поменьше.

Лёня жестами показал нам, что сель будет ещё ползти и чтобы мы уходили. И правда. Раз-

дался новый удар. Огромный пласт с оглушительным грохотом рухнул с береговой стены вниз, примерно туда, где стоял наш стол-валун. Срединная часть стены в виде глыб, камней, мелких камешков, песка и мягкой породы вывалилась и скатилась по склону. А верх стены был ещё цел. Казалось, площадка с одной кривой яблоней висит в воздухе без опоры — так узок стал каменный остов.

Наконец осыпь улеглась и всё смолкло.

— Идти можешь? А то мы тебя донесём, — сказал я Галочке.

— Запросто! — подтвердил Толя.

— Как спящую принцессу, — добавил Павлик. Все, кроме Вована, улыбнулись. Впервые в жизни я видел его растерянным, убитым.

— Могу, наверное, — сказала Галочка.

Мы все одновременно протянули ей по руке, но она, словно не заметив, протянула руки Вовану. С его помощью поднялась и попробовала шагнуть.

— Всё нормально.

Лёня, видя, что он теперь лишний, легко прыгая по камням, вернулся к своему месту. Взял удочку, проверил на крючке червяка и далеко закинул леску, попав на золотой узкий хохолок волны.

Галочка, медленно переставляя ноги, направилась к ведущей навверх дороге.

— Чё-то ты как спутанная Аннушка идёшь? — спросил Ячмень. — Ты же сказала, что всё хорошо.

Аннушка — колхозная лошадь, на которой дед Толика и Павлуши, Андрей Петрович, возил летом на дальнюю дойку доярок.

— Колени от страха подгибаются. Перетрусила.

— У тебя душа от страха не в пятки, а в колени ушла, — пошутил я.

— Миха, пусть она обопрётся на вас с Вованом, вы будете ей как костыли, — посоветовал Павлуша.

Мы встали по обеим сторонам Галочки. Она раскрыла руки, чтобы опереться на наши плечи. Осторожно и молча мы шли от реки вверх по подъёму. Я боялся, что он вдруг сдвинется с места, начнет осыпаться. И мы провалимся вниз. Нас завалит тяжёлой, весом с земной шар, глиной и засыплет камнями. Но

подъём — твёрдый неподвижный пласт почвы в мелких комочках глины и камешках — оставался недвижим. Поднявшись, мы все как по команде повернули голову к крыше Каменной стены. Там теперь было спокойно и до такой степени тихо, что даже листва на деревце рванта была неподвижна.

Мы приближались к деревне. Галочкины колени пришли в себя. И она, выскользнув из-под нашей с Вованом опеки, шла одна. Странно, но её лицо выражало такое удовольствие, можно сказать, даже счастье, будто она ела мороженое, как прошлым летом, когда к нам приезжала автолавка с мороженым на День выборов. И мы съели по божественному вафельному стаканчику.

Вован шёл за ней. Лицо его так и осталось изжелта-бледным. Плечи опущены. Спина и фигура казались какими-то мягкими и сгорбленными, будто из них вынули стальной каркас, который прежде держал их и придавал жесткости.

Генка задумчиво шёл последним. Он догнал Вована.

— Вот это было кино, да, Вован? Я прямо вижу каждый кадр!

Кино легко и беззаботно положил руку на плечо Вована.

Вован молча кивнул. Да, мол, кино что надо — чуть выпрямился под рукой друга, зашагал бодрее. Он не хотел оправдываться, что всё время, когда они бежали от обвала, почему-то видел впереди светлое платье Галочки. Да и не оправдание это.

— А я вот думаю: кто же нам кричал? — сказал Толя Ячмень. — «Назад, назад! Приказываю!» Ведь никого, кроме Лёни Немого, на берегу не было. И почему Лёня обернулся, когда поползла на нас береговая стена? Ведь он же глухой.

— Наверное, он почувствовал, — сказала Галя.

Она остановилась, и Вован с Генкой притормозили. Ячмень с Павлушей догнали их. Мы стояли теперь все вместе, одной толпой.

— Ну, это ладно, — сказал Толик. — А кто кричал? Ведь мы все слышали «Назад! Назад!»

— Может, это Лёня кричал? — сказала Галя.

Она смотрела на Толика мягко и лучисто, будто любила его. И сейчас была очень красивой. Не привыкший даже к малейшему внима-

нию со стороны Галочки, Толя оторопело глядел на нее.

— Это как?

— Может, забыл, что он немой. Ему показалось, что он на войне, что бежит он не к обрыву, а к месту, где только что взорвался снаряд? — сказала Галя.

В другое время Галочке бы досталось. Закидали бы издевками и презрительными насмешками, как тухлыми яйцами. Но сейчас мы промолчали. Только Гена, сняв руку с плеча Вована, горячо втиснулся в середину нашей толпы, потрянул головой и снова повторил:

— Вот это да, ребята! Вот это кино!

— Только нам лучше об этом никому не рассказывать. Посмотрели и посмотрели, — предупредил Ячмень.

— Да, не рассказывайте, а то меня мамка с вами пускать не будет, — попросил Павлик.

— А мы и не собирались, правда? — спросила Галочка, совсем уже блаженно улыбаясь, будто не землей и камнями её полчаса назад осыпало, а золотом-серебром. Она подошла ко мне и, всё такая же лучистая, взяла за руку.

— Подумаешь, обвал. Че тут рассказывать! — сказал я. — Живы-здоровы.

Все были согласны. Рассказывать нечего! Прошлым летом, когда Генка на Дальнем Омуте чуть не утонул, мы тоже никому не сказали.

Но всё, что произошло у Каменного берега, видел с лодки дед Курмай, ловивший снастью рыбу на Островке. Вечером он поведал об этом своей жене Курмаихе. И на следующий день в деревне только и было разговоров о том, как съехал Каменный берег и чуть не завалило дочку Ольги и Анатолия Красновых. А Лёня спас.

«Лёня спас, Лёня спас!» — несколько дней в конторе, в клубе, в сельпо, на ферме, в кузне, в колхозной пекарне, на лавочках и завалинках изб только и слышалось: «Лёня спас... Лёня спас».

Так он и стал Лёня Спас.



Андрею нравилось в армии. И служить ему было нетрудно. Подъём в шесть часов? А в колхозе-то он во сколько поднимался? На сенокос в четыре утра выезжали, чтобы до росы успеть.

Рождённый в сибирской деревне перед самой войной, он впервые до отвала наелся хлеба, когда ему было лет восемь. А тут в обед и суп тебе, и второе, и компот, большой стакан сладковатого отвара со вкусом сухофруктов, а на дне — разбухшие полумесяцы яблок, ниточки и охлопья урюка, и даже изюм.

Воинская часть, в которую Андрей попал, была маленькой. Дорога долго поднималась по крутому холму, верх которого был начисто срыт. На плоском забетонированном темени его и располагалась часть. Андрей прибыл на место службы в начале мая. Первое, что он увидел, глянув с холма вдаль, была бескрайняя гладь Волги, большая, ярко-синяя, вся в блёстках. Широкой полосой вдоль неё располагалась окраина районного городка. Буйная пена цветущих деревьев накрывала дома, в просветах виднелись жестяные крыши. Андрей изумлялся их густому бордовому цвету.

Взвод стройбатников, если не было учений, работал на стройке — копали котлованы, таскали кирпичи, брёвна, стальные балки. Не тяжелей мешков с пшеницей, какие носил он в колхозе после обмолота зерна в амбар, или мешков с выкопанной картошкой — сколько он их перетаскал на горбу в погреб! В мешок входило около пяти вёдер. Твёрдые картофелины, битком набитые в мешковину, упирались, больно врезались в спину, будто хотели продавить её насквозь. Андрейка шёл, пошатываясь от тяжести, чувствуя, как начинает жечь шею, сводить плечи, тянуть кишки. Снимет мешок, а высыпать в погреб не сразу получается: руки горят и дрожат.

Андрею нравилось в армии. В казарме у него стояла кровать, а дома он спал на печке или на полу. Армейскую кровать требовалось заправлять тёмно-синим одеялом с тремя полосками и строго по линеечке. Он так подгибал и выравнивал по струночке края одеяла, что о них порезаться было можно. А около кровати — его личная тумбочка. С наслаждением, тщательно наводил он в ней порядок. И сослуживцы — ребята хорошие. Вначале старики, ко-

нечно, подшутили над салагой. Присягу придумали.

Сержант Аннушкин усадил Андрея на стул задом наперёд и приказал проскакать круг. Повторяй, говорит, за мной клятву:

*Я – салага, серый гусь,
Я торжественно клянусь
Дедов крепко уважать,
С почестями провожать.
И во славу их трудиться,
Это скоро пригодится,
В чём торжественно клянусь
Я, салага, серый гусь.*

Андрей уселся, как на гнедую лошадь, на высокий коричневый, покрытый олифой стул с гнутыми стройными ножками (его взяли для этого случая из дежурки) и поскакал вперед, потряхивая головой и кося глазами. Торс в наклоне, крупные колени подогнутых ног торчат по обеим сторонам стула. Он скорее был похож на лошадь, которая присела, подняв круп и широко расставив ноги, чем на седока. Заглушая грохот движущегося стула, Андрей громко гундосил:

*Я – салага, серый гусь,
Я торжественно клянусь...*

При словах «дедов крепко уважать» Андрей вдруг представил себе трех самых старых дедков из своей деревни. Младшему, Мамону Иванычу, местному знахарю и лекарю, который унимал зубную боль и правил грыжу, было восемьдесят восемь лет. Кержаку Кондрату Ивановичу, здоровому, с круглым красным лицом и длинной бородой, уложенной волнистыми косицами, исполнилось девяносто. Андрей помнил себя лет с четырёх. И с этого же времени помнил Кондрата Ивановича, летом целый день сидевшего на завалинке с лестовкой². Третьему деду, Николе, ещё выходявшему за ворота в старой казачьей фуражке, было и того больше. На праздник дед Никола не отказывался от рюмочки, а выпив, долго-долго пел казацкие песни, и слёзы текли у него по лицу.

Андрей, упираясь в пол носками и держась

за спинку стула, шёл по кругу. Армейские деды, сгрудившись позади, беззлобно хохотали, и он смеялся. Нет, сержант не причинил ему боли, заставив нелепо и по-дурацки выглядеть перед другими бойцами. Он так же не чувствовал ничего унижительного в придирах или приказах какого-нибудь вальяжно разлёгшегося на кровати дембеля: вымыть шваброй взлётку, почистить картошку, подшить подворотничок. Перед самым дембелем деды начинают чудачить. Один, например, Влад по фамилии Хвостенко из Ростова-на-Дону, захотел, чтобы салага вышил ему на подворотничке цифру 61. Черными нитками. Столько ему до приказа об увольнении из армии осталось. Андрей взял нитку потолще и вышил на «подшиве» заветные цифры. На следующий день Андрея отправили дежурить на кухню. Хвостенко менять подшиву поленился, так и остался с вышивкой «61». Командир роты увидел и говорит: «Пойдём тебе навстречу, рядовой Хвостенко. Будет у тебя всегда шестьдесят один день до дембеля». Пошутил, а Хвостенко от этой шутки чуть руки на себя не наложил.

Вообще, всё на службе у Андрея было хорошо. Но только скучал он по старшему брату Митрию, которого с детства называл «братка». Сильно скучал. Иногда до такой степени, что хоть перемахивай через забор части и беги. Ему много-то и не надо: пять минут посидеть бы с браткой рядом, лицо увидеть, поговорить маленько. «А что, если не дождётся он меня и умрёт?» – Андрей пугался этих хоть и про себя сказанных слов.

Братка уже несколько лет болел лёгкими. Он сильно похудел и ослаб и в последний год почти не выходил из избы. Сидел на топчане, прислонясь к печи. Андрей замечал, как изменилось лицо Мити – исхудало, заострилось. На бледной, тронутой желтизной коже пятнами вдруг проступала краснота. И всё его тело, раньше такое торопливое, стремительное, стало впалым, почти исчезнувшим, словно вычерпала его болезнь до дна. Только глаза блестящие тем же острым, ласково-насмешливым огоньком, как раньше. Только глаза и остались... Братка приступообразно кашлял, отча-

² Лестовка – разновидность чёток, часто используемая у старообрядцев.

янно стараясь высвободить залепленные мокротой бронхи и, когда это удавалось, вытирал пот со лба, откидываясь на подушку и закрывал глаза. Отдыхал.

Зимним днём, стоя в карауле, Андрей с трудом вдыхал непривычный для него, сырой, смешанный с изморозью воздух, которым невозможно было легко и вольно дышать. То и дело покашливая, думал про братку. Мать в каждом письме пишет одно и то же: «Митя тает... боюсь, что...» И Тонечка, их соседка-школьница, в последнем письме прямо написала, что плох совсем братка. Когда Митя заболел и был вынужден отлёживаться дома, шестилетняя Тося, смыслёная и очень потешная девчушка, каждый день прибегала навестить его. Она развлекала братку. Митя звал её Тосячок. Он научил её играть на гармошке частушку. Сидя на топчане рядом с браткой, Тосячок держала гармошку на коленях, уверенно нажимала на кнопки пальчиками, играла и что есть сил выпевала частушку, которая ей сильно нравилась:

*Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили.
Маленьки котяточки
Царапали за пяточки!*

Митя рассказывал ей всякие истории-небылицы, от которых крапинки Тоськиных глаз начинали сверкать и словно бы сыпаться, как искры на круглом точиле, а рот надолго оставался открытым. Она верила каждому слову и, забывая, что это Митя рассказал ей небылицу, тут же начинала ему пересказывать эту фантастическую историю как свою. В тот год у Тоси выпали молочные зубы. Рот её обмяк и провалился, делая круглую щекастую мордочку уморительной — младенческой и старушечьей одновременно. Митя строго спрашивал Тонечку:

— Опять ты, Тосячок, к Зубаревым хлеб таскала?

Тонька отрицала.

— Таскала. Зубы-то где?

— Не таскала, — отпиралась девочка.

— Таскала, таскала.

— Нет! — кричала Тонька, не выносившая

лживого навета. Гневные слёзы капали из её глаз, и она убежала от братки домой. Но минут через двадцать возвращалась.

Теперь Тонечка училась в старших классах и писала Андрею в армию нежные девичьи письма.

«Господи Боже, если ты есть, сделай, чтобы я увидел ещё хоть раз своего брата. Ничего больше не прошу у тебя и просить не буду!» — молил Андрей, думая, что у Бога, так же, как и у людей, часто просить нехорошо. Он обратился к Богу в виде исключения. Андрей был комсомольцем и значок носил, но, когда тоска и страх раздирает душу, куда тут деваться — не комсомол же просить, чтобы не умер брат. В этом деле комсомол не помощник.

Братка, сколько помнил Андрей, всегда был рядом. Отец ушёл на войну осенью сорок первого и через полгода погиб. А мать, измученная работой и ранним вдовством, стала крикливой, слезливой и скорой на расправу — лупила за каждую мелочь. Митя был старше его на двенадцать лет, считал себя взрослым и сильно жалел маленького Андрейку. Он прозвал его Мизинчик. Отпрашиваясь у матери сходить с ребятами на Дальнее озеро в двух километрах от села, братка брал с собой Андрейку и большую часть дороги нёс на горбушке. Они шли позади всей мальчишеской компании, и Андрейка виновато спрашивал:

— Братка, тебе, поди, тяжело?

— Тяжело, семь кило. Своя ноша не тянет! — смеялся Митя и бежал догонять ребят. Андрейка подпрыгивал, визжал, благодарно утыкаясь головой в братку.

Начиная с сорок третьего года Митя работал в колхозе. Зимой и за дровами, и за соломой посылал его председатель, и скотный двор чистить, и навоз, впрягшись в сани, вывозить. Даже и на третьем году войны в колхозе ещё оставалась небольшая свиноферма, располагавшаяся за деревней неподалеку от большака. Летом председатель Андрей Каспарыч дал Мите старого коня по кличке Гром и телегу к нему, чтобы возить на ферму бочки с водой для поила. А совсем в другой стороне, за рекой, паслись коровы, сильно изголодавшиеся за зиму. Всё лето держали их на пастбище, на ночь загоняя в огороженные жердями денни-

ки. Митя возил на телеге утром и вечером через брод за реку доярок, подвозил воду и лизунец³. Андрейка каждое утро начинал плакать и не отлипал от Мити, пока тот не соглашался взять его с собой на телегу. Андрейка ехал с ним до края села, а потом братка снимал его с брички и говорил заботливо, по-отцовски:

— Ну, Мизинчик, беги теперя. Вечером привезу тебе гостинца.

Вечером после захода солнца четырехлетний Андрейка, босой, в одних трусах, мчался на край деревни, садился посреди дороги в песок, который забивался в цыпки на ногах. Комары укрывали плотным чёрным слоем его голяшки, но он сидел и ждал, когда же появится Гром, тяжело ступающий, умученный, нетерпеливо погоняемый Митей. Завидев братку, Андрейка вскакивал и нёсся к нему. Тот постепенно останавливался и, наклонившись, подхватывал с дороги мальчонку. Андрейка усаживался к брату на колени.

— Пошёл! — приказывал Митя коняге, слабенько хлестнув его вожжой, доставал из кармана кусочек хлеба.

— На вот тебе лисичкиного хлеба.

Андрейка брал пропахший бором и полем хлеб, нисколько не сомневаясь, что он от лисички, и моментально проглатывал его.

— Будешь править? — спрашивал Митя.

Андрейка брал вожжи, правил, время от времени грозно покрикивая на Грома:

— Но! Но, Глом!

Мать всегда давала утром братке «собоечку»: узелок, в который клала варёную картофелину и бутылку молока. А хлеб — только изредка.

«А он и этот редкий кусок оставлял мне», — думал Андрей, стоя на посту.

Тосковал Андрей... сильно тосковал по братке.

На втором году службы ему, как дисциплинированному бойцу, положен был отпуск. Он и рапорт уже написал. Но когда прямо с поста, где он дежурил, ему было приказано явиться к дежурному по части, Андрей сильно встревожился.

Войдя в дежурку, он увидел старшего лейтенанта Чекмарева. Как только Андрей, вытянувшись и отдав честь, доложил о своем прибытии, Чекмарев торопливо, не по-уставному сказал:

— Устьянцев, ты идёшь в отпуск! — и, сочувственно посмотрев на Андрея, мягко добавил:

— Телеграмма тебе.

Чекмарев держал в руке зеленоватый сложенный вдвое бланк. Андрей взял телеграмму и не прочел, а вдохнул с бланка жёсткие, схватывающие горло слова: «Умер братка. Выезжай».

— Зайди в штаб. Твой отпускной билет готов. Деньги получишь. Время не тяни.

Чекмарев говорил медленно и чётко, что подходило к его обстоятельной фигуре и лицу, на котором всё было крупным, но аккуратным и внушительным.

— До Петрова Вала на автобусе доедешь. Билет на поезд получишь. Неважно, есть у них места или нет, а тебе дадут. По телеграмме. До Новосибирска на поезде ехать трое суток.

— Слушаюсь, товарищ старший лейтенант, — наконец выговорил Андрей.

— Да ещё пока до своей деревни доберёшься... Сколько там езды?

— День, считай, уйдёт, товарищ старший лейтенант!

— Тьма тараканная! — Чекмарев вздохнул. — Попрощаться не успеешь. Закопают уже.

— Попрошаюсь, — сказал Андрей. — Откопаем. Я на братку обязательно посмотреть должен.

Старший лейтенант был родом из Москвы и не слыхивал о таком, чтобы покойников откапывали и на них глядели. Но в сибирских деревнях зимой, в метели и морозы, бывало, захороненных откапывали, открывали гроб, чтобы трудно добравшийся и опоздавший на похороны мог поглядеть в последний раз на своего усопшего родственника.

В поезде Андрей лежал на верхней полке, думал о братке. То верил, то не верил в случившееся. Фигуры пассажиров, по трое и четверо сидевшие на нижних плацкартных полках, виделись ему словно издалека: чёрно-белыми нечёткими контурами.

Только старичка, подсевшего к нему в Саратове на нижнюю полку, сразу воспринял как настоящего. Старичок тут же доложил, что едет он от дочери, выходит под Омском, и выпытал, куда и зачем едет солдатик. Старичка тоже зва-

³ Лизунец — каменная соль, идеальный источник минеральных веществ и хорошая добавка к ежедневному рациону животных.

ли Андреем. В обед дед Андрей достал завернутые в газетку крутые яйца, белый хлеб и порезанное на тонкие пластинки солёное сало.

— Посолонкуй со мной, сынок, — позвал он Андрея, тронув его за плечо. — Давай, спустайся с небес своих.

— Не хочу, дед, — отказался Андрей.

— А ты через не хочу. — Глаза старичка глядели на Андрея бодро и спокойно. От лица, наморщенного лба, серебристой бородки и от легкой, сухой фигуры веяло покоем. — Раньше времени маешься, сынок. Умер, говоришь? А кто тебе сказал? Почём тебе знать, кто жив, кто мёртв? — Андрей непонимающими глазами глядел на стоявшего у полки деда Андрея. — Тебе сейчас главное добраться туда, солдат.

Голос старичка, ласково-насмешливый, спокойный, был похож на Митин, и Андрей потянулся на него. Он поднялся со своего лежбища, слез вниз и присел напротив старичка.

— Силы береги, чтобы доехать, — сказал старичок, укладывая на широкий хлеб две пластинки сала, а сверху — серпик разрезанного яичка.

— Съешь, Андрейка.

Андрей послушно взял хлеб и всё, что прилагалось к нему, и быстро съел.

— А если метель? Ещё и пешком идти придётся, — бормотал старичок, налаживая второй бутерброд с салом и яйцом. — Съешь ещё.

Андрей, удивляясь сам себе, съел и второй кусок. Ему казалось, что вместе с хлебом он принял от старика крупницы снадобья, родившего в душе надежду: вдруг телеграмма — это шутка или в ней что-то напутано. Вдруг братка просто крепко спал, а мать решила, что он умер?

— Спасибо, дедко, хороший ты человек, — поблагодарил Андрей старичка, когда съел угощение и выпил чай.

— Все мы хорошие! — Глаза старичка на миг затуманились. — Бородка Минина, а совесть глиняна. Ну, теперь отдыхай, солдат.

Андрей забрался на верхнюю полку и заснул долгим бесчувственным сном. Он проспал сутки, и, когда проснулся, нижнее место, где сидел старичок, было пустым. Дед Андрей вышел на своей станции под Омском.

На четвёртые сутки морозным полднем шёл Андрей от большака к деревне, куда подвёз его

попутный бензовоз. От стремительной ходьбы ему стало жарко до пота, и он расстегнул шинель. Просёлочная дорога ершилась снегом, но внизу был натоптанный наст. Войдя в деревню, он пошёл через улицу, начинавшуюся от дороги, пройдя её, повернул вправо и увидел свою. Она была крайней, за огородами начиналось большое займище и большой кочкарник.

Их изба стояла напротив длинного ряда домов, одна, сама по себе на пригорке. Узкая тропка посреди снежных наметов вела к ней. Андрей жадно ступил на дорожку, нещадно давя пищаний под сапогами снег, и быстро прошёл к калитке. Не убранный на дворе снег лежал толстым плотным слоем. В школьном детстве, в зимние каникулы Андрей вырубал лопаткой или мастерком большие ровные кирпичики и строил снежную крепость, а Митя делал украшения: устанавливал поверх зубчатые башенки. На ночь они с браткой обливали их водой, и утром башни становились ледяными, почти прозрачными.

Андрей искал взглядом на снегу двора остатки сосновых веток или хотя бы рассыпанные по снегу темно-зеленые иглы — по обычаю их бросали в знак прощания, когда выносили из дома гроб. Но снег был чист. Он вбежал на веранду, устроенную перед сенями. Мгновенно подумал, что крышка от гроба должна стоять здесь, но её не было. Значит, похоронили.

Перешагнул в сени, открыл дверь в прихожую. — Андрейка!

Мать, склонившаяся над большой кастрюлей, в которой она обычно заваривала корм поросёнку, выпрямилась, подхватила и пошла навстречу. Упала в распахнутую на груди шинель, прижалась, заплакала. Маленькая, в ветхой шерстяной кофте с прозрачными пуговичками, которые маленький Андрейка любил трогать и разглядывать, а мать шлепала ему по рукам: «Оторвёшь!»

И не сосчитать, сколько лет она носит эту кофту, всю в починках. Мать подняла лицо, запавшее, морщинистое, с большими коричневыми пятнами на щеках. Лицо старушки. Или он не замечал раньше, или так состарилась она за последние годы?

— Мам. Я его откопаю. Я его увидеть хочу, — решительно сказал Андрей.

Мать отпрянула от него.

— Кого откопаешь?

— Братку.

— Что ты, сынок!

Это слово — «сынок» — чуть не разорвало сердце Андрея. За всё детство он помнил только один случай, когда мать назвала его вот так: «Сынок». Тогда он тяжело болел воспалением лёгких, на ладан дышал. Мать, жалкая и виноватая, давала ему топлёное барсучье сало с ложки, а он не хотел и не мог его проглотить. «Прошу тебя, сынок!» А он отвернулся к стенке и не стал пить. Слышал, что мать заплакала, но ему не было её жалко.

И вот теперь точно так же — нежно и виновато — прозвучало это: «Сынок!»

Андрей смятенно глядел на мать.

— Мама, я телеграмму получил...

— Жив братка твой, — тихонько сказала мать.

— Но плохой. Совсем плохой, — повторила она. — На той неделе ему стало лучше, он даже вон стул мне подправил, подколотил, а то разваливался весь.

Мать с одобрением указала на самодельный стул, вернее, большой некрашенный табурет с отполированным сиденьем.

— А потом, — она кивнула на вешалку у двери прихожей, — надел полшубок, шапку да и пошёл на улку. «Прогуляюсь», — сказал. Я вышла следом, встала с той стороны, где у нас баня, сердце трепещет, гляжу, а он идёт вверх по дороге, берегом, как раньше, да легко так, будто и не болел никогда.

Мать заплакала.

Андрей не понимал, что происходит. Не то он все ещё спит в поезде на своей полке и видит сон: дом, чистый снег, тропа, мать и это чуть не разорвавшее ему сердце «сынок». И Митя жив. Или он всё же приехал домой, но мать его сошла с ума от горя?

Топчан у печи был пуст. Так и не сняв шинель, Андрей перешагнул через маленькое пространство прихожей, открыл дверь в горницу и вошёл.

— Мы Митю сюда перевели, — с виноватой суетливостью следуя за ним, говорила мать. — Здесь я голландку два раза топлю, Митя у меня всегда в тепле. И спокойнее в горнице.

Братка полулежал на железной панцирной

кровати-полutorке, раньше на ней спала мать. Под спину были подложены две большие подушки. Он часто, прерывисто дышал. Сейчас, когда Андрей подошёл к нему, дыхание прервал кашель.

— Мизинчик! Приехал... — проговорил Митя, как только смог.

— Братка!

В горячной радости Андрей напрочь забыл обо всём: о телеграмме, и о мучительной дороге, и о матери, стоящей на пороге горницы. Он обнял братку, прилёг с края койки, прижался лицом к одеялу, которое лежало плоско и ровно, словно под ним никого не было, смотрел на любимое лицо, заострившееся, но всё-таки узнаваемое, родное.

— Дождался я тебя...

— Митя, ты сто лет жить будешь!

— А то ли нет. И сто лет, и двести, и во веки веков.

Синие глаза братки из глубины глазниц смотрели остро, живо и одновременно спокойно.

— Рассказывай, Мизинчик.

Андрей, то и дело пожимая прохладную влажную ладонь брата, стал рассказывать, как он ехал, какой чудной попался ему попутчик — дед Андрей, угощавший хлебом и салцем, и как он сказал: «Откуда мы знаем, кто жив, а кто мёртв».

Митя приподнял голову и с удовольствием повторил слова старичка:

— «Умер? Кто тебе сказал?» А ведь и правда. Мы ведь не знаем, как оно есть на самом деле. Почём нам знать?

Андрей не совсем понимал, в чём правда этих слов и почему они так понравились Мите, но главное, что они понравились брату, что братка доволен.

Митя снова сильно закашлялся.

Он вытащил из-под подушки чистую, прокипяченную тряпочку и, прикрыв ею рот, долго сидел в вынужденной позе, сжав плечи и наклонившись вперёд. Наконец кашель стих, и братка словно задремал, только дыхание оставалось тяжёлым, шумным. Оно было похоже на осенний ветер, натужный, надсадно свистящий, а то хрипящий, всхлипывающий. Было около трех часов дня. Лучи зимнего солнца

по косо́й проникали в правое окно горницы через мелкий узор оконных задержушек, тонкой солнечной паутинкой ложились на браткино лицо. Утомлённый дорогой, убитый горем, потрясённый нечаянной радостью, Андрей сделался весь каким-то соловым и обмякшим. Он сел теперь поперёк койки, спиной к стене. Приоткрыв рот, жадно и неподвижно, словно про запас, глядел на братку.

— И как это получилось, а, Митя? — сказал он. — С телеграммой-то?

Братка приподнялся, шутливо хлопнул его по плечу:

— Хитрый Митрий помер и глядит.

Андрей рассмеялся.

— На всё у тебя есть пословица, братка.

Ему вдруг показалось, что они сидят за столом. Раннее утро, на столе стоит чугунок с картошкой в мундире и большая деревянная солонка. Митя, быстро снимая шкурку с картофелины, режет её на дольки, смазывает подсолнечным маслом и солит крупной солью. Тепло и уютно.

Андрейка отодвигает от себя картофельные дольки. Он не хочет картошку, а просит хлеба.

— На-ка вот тебе, — протягивает ему что-то братка.

Андрей с удивлением видит хлебную горбушку — запылённую и пахнущую полем и сосновым бором и, прошептав: «Лисичкин хлеб!» — с жадностью ест.

— Пошёл я, Андрейка, — говорит братка.

В руке у него хозяйственная сумка, какую всегда брал он с собой на бригаду. Братка накидывает полушубок.

— Хоть бутылочку молока с собой возьми, — слышит Андрей голос матери из прихожей.

Братка куда-то уходит!

Босой, в длинной домашней рубашке, Андрейка бежит за ним к дверям и кричит что есть силы:

— Братка, я с тобой!

Вздвогнув и проснувшись от собственного крика, Андрей открыл глаза. В горнице было темно и тихо.

Шумное, надсадное, как осенний ветер, дыхание брата остановилось.

Андрей вынул одну подушку из-под спины братки, удобно положил его и остаток ночи присидел с ним.

Назавтра у него было много хлопот, которые отвлекали, заставляли не думать о том, что братка умер. Утром он ушёл из дома, предоставив омыть и одеть покойника матери и двум соседкам-старухам. Вместе с плотником Николаем, другом Мити, обтёсывал он доски, сколачивал гроб. Забывался и спрашивал себя: «Для кого мы его колотим?» Потом спохватывался. Принёс готовую домовину и опять ушёл.

Взяв большую лопату, отправился на могилку — так в деревне называли кладбище. Дорогу недавно прочистил трактор, но на самом кладбище снег лежал вольно и глубоко. Пробираясь через него, проваливаясь и выбираясь в поисках твёрдого наста, вытаптывая тропу и подчищая лопаткой, дошёл он до их, Устьянцевых, места. Растресканное дерево старых крестов, занесённых почти до верха, — здесь лежат прадед и прабабка. Металлический сваренный из труб крест с наплывами швов в местах соединения крестовин — это могила бабушки Оли. Деревянный памятник, похожий на домик, братка сам делал — с резной рамкой посредине, годы жизни: 1872 — 1940 — это деда Петра. Хорошо, что дед перед войной умер и не узнал, что сын его, Александр Устьянцев, через два года погиб на войне. Меж бабушкой и дедом — маленькая почти плоская могилка, — там покоится старшая сестричка Андрея Нюточка, которая умерла раньше, чем он родился.

Полдень был тихий, с сухим морозом, но здесь, в открытой степи, всё же сквозил через узкие переулочки и меж могилами торопливый ветер, и Андрею вдруг послышался тоненький голос Пелагеи, деревенской плакальщицы, которую слышал он в детстве, как причитала она, когда умерла бабушка Оля. И сейчас, услышав её тоненький голос, Андрей вспомнил себя пятилетним мальчиком, сидящим у братки на руках, и ощутил, как ему стало спокойно и тепло. Он вычистил от сугробов участок, где будут завтра копать яму, и вернулся, чтобы побыть у гроба брата.

Вернувшись, Андрей сел у гроба, спокойный, с умягчённым сердцем, и тихонько заговорил с браткой:

— Сходил на кладбище, снег на участке почистил... Земля сильно промёрзла, железная прямо. Но ничего. Ночью костёр запалю, подтаёт. Мужиков уже набрал, кто копать будет. Лёня Леготин, Вовка Керн, дядя Петя Плотников и соседка наш, Ефим Петрович, — у него пила хорошая, пригодится.

После похорон Андрей двое суток до отъезда выяснял, кто же послал ему в армию телеграмму. Сначала он думал, что это Тоня. На похоронах она плакала сильнее и громче всех. Деревенские удивлялись и, перешептываясь, говорили: «Ты смотри, как Тонька убивается. Ровно по родному!»

Тоня старательно помогала его матери приготовить кутью и молочную лапшу на поминки, милое лицо её выглядело грустным и растерянным. Андрей подошёл к ней, обнял за плечики и сказал: «Спасибо тебе, Тонечка, за телеграмму. Вовремя вызвала». Но Тонька, всхлипывая, продрогшим голоском проговорила: «Я не посылала, Андрюша». Не посылали телеграммы и Митин друг Николай. «Какая теперь разница, кто послал, — сказал он, — брось ты это дознание, Андрейка!»

Андрей шёл вдоль замёрзшей Кулунды, открытой у берегов пухлыми белыми налётами, посредине — снежными гребнями, и россыпью льда у рыбацких лунок. Вся его жизнь была связана с этой рекой. Он будто родился в ней. Андрей не помнил, чтобы когда-нибудь не умел плавать. Митя говорил, что он уже в три года плавал. У них была на берегу своя мостушка в три широких доски. Ещё отец сколотил её. С мостушки набирали воду, мать полоскала бельё, драила песком и промывала посуду.

Маленьким Андрейка купался у мостушки, подныривал под доски, выплывая с другого бока. Река казалась ему живой и понимающей, как человек. Она любила Андрейку, тёплая мягкая вода обмывала ему шею и спину, щекотала струйками, стекая с волос по лбу и щекам, играла с ним. А когда он, пятилетний, вечно голодный, ловил пескарей банкой, накрытой воронкой из толя, она посылала, подсовывала ему целые косяки рыб и радовалась вместе с ним, искрясь на свету июльского солнца. Так думал он, маленький.

Андрей шагнул с дороги к самому краю высокого речного берега. Он смотрел вниз, будто надеясь, что вдруг сбросит река с себя ледяную крышку и оживёт, выйдет из домовины, потечёт, позовёт к себе в свою тёплую мягкую воду. «Ну и упряталась ты. Не видать, не слышать. Знала бы, как я по тебе соскучился», — про себя произнёс он и словно ощутил, как тёплые мягкие струи прикоснулись к его голой шее, потекли по спине, обняли его всего.

— И почему братка не может вот так, как река? Выйти из ледяной домовины? Или... может? Как это старичок сказал: «Умер, говоришь? А кто тебе сказал? Почём тебе знать, кто жив, кто мёртв?» И Митя на это сказал: «А ведь и правда». А ведь и правда! Братка, такой весёлый, насмешливый, ласковый, мастеровой, такой нужный, не мог исчезнуть навсегда. Не мог, и всё. Андрей шёл и ощущал рядом с собой его родное и нетленное тепло.

Он направился прибрежной улицей, которая поднималась вверх, потом пересёк её и вышел к почте, большому бревенчатому дому, принадлежавшему когда-то сибирскому купцу. Высокое крыльцо выводило на крытую галерею, огороженную фигурными столбцами. Андрей поднялся на неё и вошёл в почтовое отделение.

За высокой загородкой сидела единственная почтовая работница — тётя Маша. Она работала здесь с того дня, как почта открылась, а произошло это в сорок седьмом году. Тётя Маша сидела за столом и считала на больших бухгалтерских счётах. Тут же на столе с одного бока стояла банка с сургучом, лежали моток шпагата и большие ножницы. На широком поставце с обратной стороны загородки стояла чернильница и две деревянные ярко-жёлтого цвета ручки, которые опирались перышками на круглые края чернильницы.

Тёте Маше было уже лет сорок, но выглядела она как совсем молодая женщина. Она не повязывала, как другие деревенские, голову платком. Тёмные, без седины, волосы всегда были по-городскому уложены сзади аккуратным валиком, впереди у лба и висков волосы кучерявились, обрамляя лицо тёти Маши, белое, нежное. Мать рассказывала им с Митей, что тётя Маша была приемной дочкой зажи-

точной семьи и, когда семью раскулачивали, главный коммунист Павел Костров решил, что раз Маша не родная дочь этих кулаков, то можно не отправлять её вместе с ними в ссылку. Он поселил её у своих родственников, а потом, когда Маша подросла, женился на ней.

Андрей знал, что братка выделял тётю Машу из всех деревенских женщин, очень уважал её за особую красоту и умный нрав и всегда говорил Андрею: «Вот какой должна быть женщина!» Тётя Маша носила на шее не стареющий ярко-зелёный, всегда отглаженный платочек, кончики которого свисали ей на грудь острыми свежими листочками.

— Андрейка!

Пальцы тётки Маши ласково замерли на косточках счётов.

— А у меня бухучет: бух да бух по голове.

Андрей поздоровался, облокотился на поставец и, не церемонясь, спросил:

— Тётя Маш, это ты мне телеграмму отправила... что братка умер?

— Наш Демид прямо глядит, — ответила тётя Маша пословицей, которую и Митя часто говорил. — Сильно сердиться?

— Нет, я благодарен тебе, спасибо, тётя Маш! Иначе не увидел бы братку живого.

— Не посылала я.

— Так некому больше.

— Ей-богу. Вот хоть честное ленинское, как ты комсомолец, — спохватилась тётя Маша и прижала руку к сердцу.

— Ещё можно сказать: «Мамой клянусь», — посоветовал Андрей. — У нас сержант Хвостенко всегда так говорил, когда врал.

Тётя Маша глянула на него, села на свое место и пододвинула к себе счёты.

— Андрейка, такие телеграммы в больнице круглой печатью заверяют...

— Эта незаверенная была, — сказал Андрей и хлопнул ладонью по поставцу. — Никто из родни телеграммы не отправлял, Тонька не отправляла, и ты отказываешься. Тётя Маш, ты тут одна работаешь. Кто ж послал?

— Никто отсюда не посылал, — медленно, с нажимом на каждое слово произнесла тётя Маша. Будто поставила большую и жирную точку в разговоре.

— С неба, что ли, она мне в армию упала?

— А так и думай, что с неба, — обрадовалась тётя Маша. — Небесный телеграф послал.

— А такой бывает?

— Сам видишь.

— До свиданья, тётя Маш, — сказал Андрей.

— Вернёшься в деревню после армии?

— Вернусь.

— А братка тебя ждать будет, — тётя Маша пыталась не дать ходу неудержимым слезам, но они всё же излились. Она промокала щёки концами платка, и зелёный цвет их становился ярким, влажным, как трава после дождя. — Царствие Небесное Мите.

Сидя в поезде, видел Андрей заснеженную землю, схваченную звериной хваткой мороза, и ему казалось, что вся она прячет, держит и хранит его братку. Он вспоминал, как всю ночь жёг костёр, нагревал мерзлоту, как утром, сняв верхние оттаявшие слои земли, отбойным молотком отбивал мёрзлые куски, пробивал и ломал её железным ломом, вырубал на глубине куски топором, рвал и резал лопатой, чтобы выкопать получше яму. Чтобы мягче и теплее лежалось Мите. Подошли односельчане с лопатами, он договорился с ними ещё накануне: друзья детства Мити — Лёня Леготин и Вовка Керн, дядя Петя Плотников и сосед Ефим Петрович со своей знаменитой пилой, что и железо резала, как бумагу. Молча взялись за дело.

И вот вынесли они гроб с Митей за ворота, поставили на табуретки. Обступили его сельчане, а мать, захлебываясь, истерично кричала: «В одном костюме! Ему же холодно! Митенька, тебе же холодно!» И пыталась снять с себя Митин полушубок, в котором ездил он, бывало, в морозы на заготовки дров. И старые сёстры матери, приехавшие из дальних сёл, с обеих сторон держали её за руки. Андрей кивком здоровался с деревенскими, некоторые подходили, молча обнимались с ним. Соскучились.

И вот уже подняли гроб и понесли братку по улице, за дальний поворот, где начиналась дорога на кладбище.

...Весь обратный путь в поезде Андрей почти не спал и не ел, но был бодрым. Когда проводница в четыре утра прибежала будить его,

он одетый, с вещмешком за спиной уже стоял в тамбуре.

В военной части всё казалось Андрею новым. Словно годы прошли с того утра, как вышел он через КПП и побежал с холма вниз, в город, к автобусной остановке, чтобы доехать до станции. Силикатный кирпич одноэтажной казармы был на четверть стены укрыт новым красным плакатом, перед казармой два голых осокоря, так назывались здесь тополя, блестели ледяными гроздьями, свисающими с ветвей. Расчищенный плац, разделённый белыми линиями на строевые площадки, был красив и торжествен. Всё за оградой части казалось строгим, важным, серьезным, и это восхищало Андрея. Четкие дорожки расходились от пропускного пункта в разные стороны: к казарме, дежурке, столовой. Он шёл к дежурному по части доложить о прибытии. Дверь в неё была открыта, и Андрей, ещё не заходя, увидел стоящего посреди дежурки старшего лейтенанта Чекмарева. Он, как видно, опять был дежурным. Андрей строевым шагом подошёл к Чекмареву. Вытянулся:

— Товарищ старший лейтенант! Разрешите обратиться!

— Вольно. Прибыл, значит.

— Так точно, товарищ старший... Чекмарев!

Фамилию Андрей сказал нечаянно и смутился.

— Зарапортовался маленько, — усмехнулся дежурный. И, понизив голос, спросил: — Ну что, откапывали?

— Нет. Успел.

— Успел? Как же?

Андрей машинально тронул карман шинели, где лежал сложенный вчетверо бланк телеграммы:

— Чудо, старший лейтенант. Небесный телеграф.

Чекмарев сочувственно взглянул на отпускника, который явно находился ещё в состоянии аффекта.

— Чудо, если в столовой еда осталась и ты перед марш-броском позавтракать успеешь, — сказал он. — В столовую бегом марш!

Андрей, отдав честь и повернувшись, вышел из дежурки, широко пошagal, а потом побежал, стуча сапогами по кирпичу расчищенной дорожки, снова ощущая рядом с собой Митю, его родное и нетленное тепло.

Шёл девятый день со дня кончины братки.

Нина Густавовна ОРЛОВА-МАРКГРАФ —

прозаик, поэт, переводчик.

Родилась на Алтае, в селе Андроново.

*Окончила Камышинское медицинское училище
и Литературный институт им. А. М. Горького.*

*Печаталась в журналах «Москва», «Юность»,
«Нева», «Алтай» и др.*

*Лауреат премии им. Святого благоверного князя Александра Невского,
а также Международного конкурса имени Сергея Михалкова
за сборник рассказов «Хочешь жить, Викентий?».*

Живёт в городе Железнодорожный Московской области.

В журнале «Север» публикуется впервые.

